Пармская обитель

Автор:
Фредерик Стендаль

Пармская обитель

Стендаль (Мари-Анри Бейль)

«Пармская обитель» – второй после «Красного и черного» роман об эпохе Реставрации. Действие этого остросюжетного произведения, насыщенного сложными перипетиями политической борьбы и резкими поворотами в личных судьбах героев перенесено в Италию, столь любимую автором. Книга была высоко оценена Бальзаком, отметившим достоверность и психологическую глубину характеров; она прочно вошла в золотой фонд мировой реалистической классики.

Стендаль

Пармская обитель

Предисловие автора

Повесть эта написана зимой 1830 года, в трехстах лье от Парижа; поэтому в ней и нет ни единого намека на события текущего, 1839 года.

За много лет до того, в те времена, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, очаровательном итальянском городе. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями.

В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой; они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника велел принести из кофейни Педроти превосходного zambaione[1 - Гоголь-моголь (ит.).]. Засиделись мы главным образом из-за того, что слушали историю герцогини Сансеверина: кто-то из гостей упомянул о ней, а хозяин ради меня рассказал ее всю полностью.

– В той стране, куда я еду, – сказал я своим друзьям, – не найти такого общества, как у вас, и, чтобы скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть.

– В таком случае, – сказал племянник каноника, – я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при пармском дворе, происходивших в те времена, когда там полновластно царила герцогиня. Но берегитесь! Эту историю трудно назвать назидательной, и теперь, когда у вас во Франции мода на евангельскую непорочность, она может создать вам славу настоящего убийцы.

Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.

Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня – итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодушны и небоязливы, говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь временами, но тогда оно становится страстью, именуемой puntiglio[2 - Вопрос чести (ит.).]. И, наконец, они не смеются над бедностью.

Вторая неприятность касается автора.

Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров, но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем наделять их высокой нравственностью и обаятельными качествами наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или

любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, являются почти полной их противоположностью. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.

23 января 1839 года.

Часть первая

Gi? mi fur dolci inviti a empir le carte

I luoghi ameni.

Ariosto, Sat. IV[3 - Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем. Ариосто, IV сатира (ит.).]

I

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая перешла через мост у Лоди, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, свидетельницей которых стала Италия, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, – так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходившая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины. А став верноподданными, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе постоянного поклонника, – иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные нежданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года целый народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия» и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, – совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозою, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.

В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, которые охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Свобода нравов достигла крайних пределов, но страсти были явлением редким. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом гибели даже в здешнем, земном мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии, мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом – торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. Художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови рекой потекла пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем неизвестно в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь с него сделали гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался в армии самым старым человеком. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы – изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы; недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший играть на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены; зато итальянки научили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по возможности расквартировали по богатым домам: им очень нужен был отдых. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, человек молодой и довольно бойкого нрава, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще эта часть одежды так кстати не приходилась человеку. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расползлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также подобранной на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были привязаны к башмакам весьма заметными веревочками, и когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откушать с маркизой дель Донго, бедняга до смерти смутился. Вместе со своим вестовым он провел два часа, остававшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец страшная минута настала.

«Еще никогда в жизни я не был так смущен, – говорил мне лейтенант Робер. – Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, – добавил он, – была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела «Иродиада» Леонардо да Винчи, – казалось, это был ее портрет. По счастью, эта сверхъестественная красота так поразила меня, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в крепкие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза в тот день – для храбрости, как она сто раз мне потом объясняла, – взяла домой из монастырского пансиона сестру

своего мужа, Джину дель Донго; впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни испытаний.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид – все восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпение и досаду. Словом, я был в глупейшем положении: я должен был сносить презрительные взгляды – вещь для француза невозможная. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за два года в генуэзских горах, где нас держали старые дураки генералы. Там давали нам, говорил я, три унции хлеба в день, а жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не проговорил я и двух минут, как у доброй маркизы уже заблестели на глазах слезы, и Джина тоже стала серьезной.

– Как, господин лейтенант? – переспросила она. – Три унции хлеба?

– Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не выдавали, и так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.

Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, свое единственное шестифранковое экю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

Неделю спустя, – продолжал свой рассказ лейтенант Робер, – когда стало совершенно ясно, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо, из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равна его трусости, то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».

История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих храбрецов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого соображения: этот народ скучал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвение всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старые нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции на нужды французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной такого ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. В былые времена замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, большую часть которого можно видеть из окон. Это был родовой замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; там сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда,

уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотою в восемьдесят футов и толщиною в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью – тридцатью лакеями, которых считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их бранью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали casa del Dongo[4 - Дом дель Донго (ит.).], как говорят в Италии, и стараться уменьшить их, что вынуждало ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также с лицами незнатными, но весьма влиятельными. Между тем в семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и родовитого, но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок – вышла замуж за графа Пьетранеру. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был суб-лейтенантом Итальянского легиона, что усугубляло негодование маркиза.

Прошло два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория, стараясь придать себе вид прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бездарные генералы, поставленные ею во главе Итальянской армии, проигрывали битву за битвой на тех самых веронских равнинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонато. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией на простой телеге.

Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев), потому что, на их счастье, этот возврат к мракобесию действительно продлился только тринадцать месяцев – до сражения при Маренго. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамелюками – участь, заслуженная им по многим причинам.

Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз дель Донго. Крайне реакционные взгляды маркиза, вполне естественно, поставили его во главе его партии. Члены этой партии, люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Этот генерал, человек довольно благодушный, поддавшись их уговорам, решил, что суровость – самая искусная политика, и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии.

Вскоре их сослали в бухты Каттаро, бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное, голод быстро расправились с этими «негодяями».

Маркиз дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаредность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетранера: она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, вместе с ним умирала с голоду во Франции. Добрая маркиза дель Донго была в отчаянии; наконец ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который супруг отбирал у нее каждый вечер и запирал в кованый сундук, стоявший под его кроватью; маркиза принесла мужу в приданое восемьсот тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы восемьдесят франков. Все тринадцать месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги.

Признаемся, что, по примеру многих серьезных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге не кто иной, как Фабрицио Вальсерра marchesino[5 - Произносится «маркезино». По местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза, «контино» – сыновьям графа, «контессина» – дочерям

графа и т. д. – Примеч. автора.] дель Донго, как говорят в Милане. Он дал себе труд родиться как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном г-на маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового состояния дель Донго являлся старший сын маркиза, Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио – два года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, неожиданно перешел Сенбернарский перевал и вступил в Милан – еще один исключительный момент в истории: вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Опьянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести: этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие в бухтах Каттаро патриоты; возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, исхудалые узники, с большими удивленными глазами, представляли собою разительный контраст с ликованием, гремевшим вокруг них. Для наиболее скомпрометированных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркиз дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после Маренго стали устраивать в Casa Tanzi. Через несколько дней после победы французский генерал, на которого была возложена обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе при Маренго, изменившей судьбу Италии и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей: все поглощены пророчеством святого Джовиты, главного покровителя города Бреши. Это вдохновенное прорицание гласило, что благоденствию Наполеона и французов настанет конец ровно через тринадцать недель после Маренго. В оправдание маркиза дель Донго и других злобствовавших владельцев поместий надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через тринадцать недель, но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва

плохо поняли предсказание святого покровителя Брешии; речь шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало.

Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта, среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и не учился ничему, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являвшемуся шедевром художников XVII века, – это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, неизменно разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась юному Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа позволение съездить в Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки; деньгами ее ссужала невестка, добрая графиня Пьетранера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения, вице-короля Италии.

Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольном изгнании, позволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умненький мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность; она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в учении и получит к концу года награды. Вероятно, для того, чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии, были, однако, изгнаны из страны по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всесильной придворной дамой. Он не подумал жаловаться на отлучки Фабрицио, и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетранера в сопровождении своего супруга, дивизионного

гвардейского генерала, и пяти-шести сановных особ из свиты вице-короля посетила коллегию иезуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства.

Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарские офицеры, и он в двенадцать лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная изяществом своего племянника, попросила принца назначить его пажем, что означало бы примирение семейства дель Донго с новой властью. На следующий день графине понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости – согласия отца будущего пажа, но в согласии, несомненно, было бы отказано, и очень бурно. Выходка сестры всполошила фрондирующего маркиза дель Донго, и он под благовидным предлогом вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, прося прислать к ней племянника; письмо ее осталось без ответа.

Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в умении ездить верхом: граф Пьетранера, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады.

Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расставании с тетушкой и ее великолепными гостиными, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперся в своем кабинете со старшим сыном, маркезино Асканьо: они сочиняли шифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену; отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего законного преемника, как вести двойные счетные записи доходов, получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже с сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканьо для шифровки депеш, в пятнадцать – двадцать страниц каждая, которые посылал два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркиз воображал, что знакомит своих законных государей с внутренним положением

Итальянского королевства, и, хотя это положение было совсем неведомо ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему: маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, переходившего в другой гарнизон, и в своем донесении венскому двору старался по крайней мере на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать, преглупые, отличались одним достоинством: они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту камергерский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного австрийского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши иначе как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху.

Маркиза пришла в восторг от миловидности своего младшего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу графу д’А***, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, она совершенно не могла. Расспросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством.

«Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно, нашел бы, что у него совсем нет образования, а ведь теперь нельзя выдвинуться без личных заслуг», – думала она.

Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицио: он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподанным ему иезуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая набожность мальчика испугала ее: «Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына». Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицио от этого лишь возросла.

Жизнь в замке, где сновало тридцать – сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами; все они были ярыми приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, состоявшими при особе маркиза или старшего его сына. Главной темой

насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы по примеру господ.

II

…Когда нам Веспер тьмой застелет небосклон,

Смотрю я в небеса, грядущим увлечен:

В них пишет бог – путем понятных начертаний —

Уделы и судьбу живущих всех созданий.

Порой на смертного он снизойдет взглянуть

И, сжалившись, с небес ему укажет путь.

Светилами небес – своими письменами —

Предскажет радость, скорбь и все, что будет с нами.

Но люди – меж смертей и тяжких дел земных, —

Те знаменья презрев, не прочитают их.

Ронсар[6 - Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник.]

Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, – говорил он, – погубили Италию». Он недоумевал, как согласовать этот священный ужас перед знанием с необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им у иезуитов. Самым безопасным он счел поручить аббату Бланесу, священнику гриантской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио латыни. Но для этого надо было, чтоб старик сам ее знал; он же относился к ней с презрением, и познания его в латинском

языке ограничивались тем, что он вытвердил наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разъяснить их смысл своей пастве. Тем не менее аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе: он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джовиты, покровителя Бреши, исполнится вовсе не через тринадцать недель и даже не через тринадцать месяцев. Беседуя об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число тринадцать следует толковать в смысле, который весьма удивил бы многих, если бы только можно было все говорить без утайки (1813)!

Дело в том, что аббат Бланес, человек честный, поистине добродетельный и, по существу, неглупый, проводил все ночи на колокольне: он помешался на астрологии. Весь день он занимался вычислениями, устанавливая различные сочетания и взаимоположение звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением на небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом – подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империй и наступления революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади, – говорил он Фабрицио, – с тех пор как меня научили, что по-латински она называется equus?»

Крестьяне боялись аббата Бланеса, считая его великим колдуном; он не возражал против этого: страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата Бланеса, завидуя его влиянию на прихожан, ненавидели его; маркиз дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека столь низкого положения. Фабрицио боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа. Затем он поднимался на колокольню – это была большая честь, которой аббат Бланес никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, – говорил он Фабрицио, – то, пожалуй, будешь настоящим человеком».

Раза два-три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех рискованных экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Каденабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят закидные удочки далеко от берега. К

верхнему концу лесы у них привязана дощечка, обитая снизу пробкой, а на дощечке укреплена гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба, клюнув, дергает лесу.

Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные удочки, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодке за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности, – это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух «Ave Maria»[7 - «Мария, дева, радуйся» (лат.).]. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тотчас же вслед за молитвой, Фабрицио бывал озадачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось плодом его участия в астрологических занятиях аббата Бланеса, хотя он нисколько не верил предсказаниям своего друга. Сообразно прихотям юной фантазии Фабрицио, приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, товарищи мало-помалу привыкли слушаться его прорицаний; и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи и отправлялись по домам, в постель. Итак, аббат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке – астрологии, но, сам того не подозревая, внушил ему беспредельную веру в предзнаменования.

Маркиз понимал, что при первой же неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры, и поэтому ежегодно ко дню святой Анджелы, то есть к именинам графини Пьетранера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такой поездки, дозволяемой в важных политических целях, маркиз давал сыну четыре экю и, по обычаю своему, ничего не давал жене, всегда сопровождавшей Фабрицио. Но накануне поездки отправляли через город Комо повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркизы была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон.

Образ жизни злобствующего маркиза дель Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые решались вести его, основательно обогащались. У маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил и четверти этой суммы: он жил надеждами. Целых тринадцать лет,

с 1800 по 1813 год, он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине. При вести о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть не сошел с ума; тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И наконец, после четырнадцати лет ожидания, ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению, полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза дель Донго с чрезвычайной учтивостью, граничившей с почтением; тотчас же ему предложили один из виднейших административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное ему звание кадета. Триумф, которым маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился лишь несколько месяцев, а за ним последовали унизительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было дарований государственного деятеля, а четырнадцать лет деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Между тем в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старинной монархии. Промахи маркиза дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ультрамонархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность помощника главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства. Маркиз был возмущен, счел себя жертвой жестокой несправедливости и даже напечатал «Письмо к другу», несмотря на то что яро ненавидел свободу печати. Наконец, он написал императору, что все его министры – предатели, ибо все они якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительное известие. После падения Наполеона стараниями могущественных в Милане людей на улице был убит граф Прина, бывший министр итальянского короля и человек весьма достойный. Граф Пьетранера, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетку церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в сточную канаву посреди улицы, но

священник издевательски отказался открыть решетку, и за это маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение.

Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетранера, не имея даже пятидесяти луидоров годового дохода, осмеливался чувствовать себя довольным да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь, и дерзко проповедовал тот дух нелицеприятной справедливости, который маркиз называл мерзким якобинством. Граф отказался вступить в австрийскую армию; этот отказ получил должную оценку, и через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения генерала Пьетранеры в тюрьму. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и рассказать императору всю правду. Убийцы Прины струсили, и один из них, двоюродный брат г-жи Пьетранера, принес ей в полночь, за час до ее отъезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетранеру, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прины и заключением в тюрьму графа Пьетранеры.

После этой грозы, которую отвратила твердость характера графини Пьетранера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна.

К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также близким другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре Ла Скала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской республики. Граф дал ему пощечину; тут же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, присутствовавшие при нем, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии.

То нелепое мужество, которое называют покорностью судьбе, – мужество глупцов, готовых беспрекословно дать себя повесить, – совсем не было свойственно графине Пьетранера. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование; она пожелала, чтобы Лимеркати – тот богатый молодой человек, который был ее другом, – тоже возымел фантазию отправиться в путешествие, разыскал в Швейцарии убийцу графа Пьетранеры и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной.

Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она удвоила внимание к Лимеркати: ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того чтобы французам был понятен такой план мщения, скажу, что в Ломбардии, стране довольно отдаленной от нашей, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетранера, даже в глубоком вдовьем трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н***, всегда говоривший, что Лимеркати немного тяжеловесен, немного мешковат для такой умной женщины, влюбился в нее до безумия. Тогда она написала Лимеркати.

«Не можете ли Вы хоть раз в жизни поступить как умный человек? Вообразите, что Вы никогда не были со мной знакомы.

Прошу принять уверения в некотором презрении к Вам.

Ваша покорная слуга

Джина Пьетранера».

Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий; любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб, – намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Приехав в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей свою руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н***. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях;

каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н*** она погубит себя, что такая связь ее позорит.

На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н*** и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н***, будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она соблаговолила ему сообщить.

– Будьте милостивы, – добавил он, – принимайте меня, оказывая мне по-прежнему все те внешние знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда сумею сохранить подобающее место в свете.

После столь героического признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н***. Но за пятнадцать лет она привыкла к жизни самой роскошной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее, неразрешимую, задачу: жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на шестом этаже, уволила всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой поденщицей. Такая жертва была, в сущности, менее героической и менее тяжелой, чем это кажется нам: в Милане над бедностью не смеются, а следовательно, она и не страшит, как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности; ее постоянно бомбардировали письмами и Лимеркати и даже граф Н***, тоже мечтавший теперь жениться на ней; но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как! Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его!

Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго. Переменчивая душа Джины с восторгом приняла мысль о новом образе жизни; уже двадцать лет графиня не бывала в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой, – говорила она себе. – А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем? (Графине пошел тридцать второй год, и она полагала, что ей пора в отставку.) На берегу чудесного озера, где я родилась, я обрету наконец счастливую, мирную жизнь».

Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такою легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы не помнили себя от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости, – говорила, целуя ее, маркиза. – А накануне твоего приезда мне было сто лет!» Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками: виллу Мельци на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рощу Сфондрата, расположенную выше, по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава: один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Леко меж угрюмых скал, – все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире – Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. «На берегах Комо, – думала она, – нет того, что видишь вокруг Женевского озера: обширных полей, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон вздымаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в статью дохода. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегающих к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо и Ариосто. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рощицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая, суровая картина, напоминая о пережитых горестях, усиливает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями, звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: «Жизнь коротка, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им».

То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность шестнадцатилетней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. «Неужели, – думала она, – счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку; Фабрицио, маркиза и сама г-жа Пьетранера собственными руками украсили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь: со времени своей опалы маркиз дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в десять шагов шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал воздвигнуть плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков.

Старший брат Фабрицио, маркезино Асканьо, попытался было принимать участие в прогулках дам, но тетка брызгала водой на его пудреные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки.

Асканьо поклялся отомстить Фабрицио.

Однажды поднялась буря, и лодка едва не перевернулась; хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу: он и без того был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю, – на этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны: из двух горных ущелий, находящихся на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера; она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище: она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта. Выпрыгнув из лодки, она упала в воду, Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не

очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня страстно увлеклась простодушным характером старика Бланеса и его астрологией. Деньги, оставшиеся у нее после покупки лодки, ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа; и почти каждый вечер графиня, взяв с собою племянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио в этой компании выпадала роль ученого, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов.

Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день она смеялась по-прежнему; обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетования маркизы, ее невестки.

– Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке? – восклицала маркиза.

До приезда графини у нее недоставало смелости даже подумать об этом.

Так прошли зимние месяцы 1814–1815 года. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан: нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано, которые давали в театре Ла Скала, и маркиз не запрещал жене сопровождать золовку. В Милане бедная вдова генерала Цизальпинской республики, получив пенсию за три месяца, давала богатейшей маркизе дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны; дамы приглашали к обеду старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, помогала им забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома.

7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул один из доверенных людей маркиза: Наполеон только что высадился в бухте Жуан. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно

нисколько не поразило; он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов и еще раз заявил, что министры его величества – якобинцы, орудующие заодно с парижскими смутьянами.

8 марта, в 6 часов утра, маркиз, надев камергерский мундир со всеми орденами, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио велел доложить о себе графине Пьетранера.

– Я уезжаю, – сказал он. – Я хочу присоединиться к императору – ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу! Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью в Менаджо мой друг Вази, тот, что торгует барометрами, дал мне свой паспорт; дай мне несколько наполеондоров: у меня их всего два, – но если понадобится, я пойду пешком.

Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги.

– Боже мой! Как тебе пришла в голову такая мысль? – воскликнула она, сжимая руки Фабрицио.

Она встала с постели и вынула из бельевого шкафа тщательно запрятанный там кошелечек, вышитый бисером, – в нем лежало все ее богатство.

– Возьми, – сказала она Фабрицио. – Но, ради бога, береги себя. Что будет с твоей несчастной матерью и со мной, если тебя убьют? А надеяться на успех Наполеона невозможно, бедный дружок мой: эти господа сумеют его погубить. Разве ты не слышал в Милане неделю тому назад рассказ о том, как его двадцать три раза пытались убить? Эти покушения были так хорошо обдуманы, что он уцелел только чудом. А ведь тогда он был всемогущ. Ты же знаешь, что наши враги только о том и думают, как бы избавиться от него. Франция впала в ничтожество после его изгнания.

Графиня говорила об участи, ожидавшей Наполеона, с глубоким волнением.

– Позволяя тебе отправиться к нему, я приношу ему в жертву самое дорогое для меня существо на свете, – сказала она.

Глаза Фабрицио наполнились слезами, он заплакал, обнимая графиню, но воля его ни на минуту не поколебалась. Он с горячностью изложил своему дорогому другу все причины, побудившие его принять такое решение; мы позволим себе смелость признать их весьма забавными.

– Вчера вечером, в шесть часов без семи минут, мы, как ты помнишь, прогуливались по платановой аллее на берегу озера, под Каза Соммарива, и шли по направлению к югу. Как раз в это время я заметил вдалеке ту лодку, что плыла со стороны Комо и везла нам великую весть. Я смотрел на лодку, совсем не думая об императоре, только завидовал судьбе тех людей, которые могут путешествовать, и вдруг я почувствовал глубокое волнение. Лодка причалила, агент отца что-то тихо сказал ему, отец вдруг побледнел, отвел нас в сторону и сообщил нам ужасную новость. Я отвернулся и стал смотреть на озеро только для того, чтобы скрыть слезы радости, хлынувшие из моих глаз. И вдруг на огромной высоте – и притом с правой стороны – я увидел орла, птицу Наполеона; орел величественно летел по направлению к Швейцарии, а значит, к Парижу. И я сейчас же сказал себе: «Я тоже пересеку Швейцарию с быстротою орла, я присоединюсь к этому великому человеку и принесу ему то немногое, что могу дать ему, – поддержку моей слабой руки. Он хотел дать нам родину, он любил моего дядю!» Когда орел еще не совсем скрылся из виду, у меня вдруг почему-то высохли слезы, и вот тебе доказательство, что эта мысль была ниспослана мне свыше: лишь только я безотчетно принял решение, в тот же миг я увидел, какими способами можно осуществить его. И мгновенно вся печаль, которая, ты знаешь это, отравляет мне жизнь, особенно в воскресные дни, исчезла, словно ее развеяло дыхание божества. Перед моими глазами встал великий образ: Италия поднимается из того болота, в которое погрузили ее немцы; она простирает свои израненные руки, еще окованные цепями, к своему королю и освободителю[8 - Эти патетические слова передают прозой строфы стихов знаменитого Монти. – Примеч. автора.]. И я сказал себе мысленно: «Я, доселе безвестный сын нашей многострадальной матери, пойду, чтобы победить или умереть вместе с человеком, отмеченным судьбою и пожелавшим смыть с нас презрение, с которым смотрят на нас даже самые подлые, самые порабощенные обитатели Европы».

Помнишь, – тихо добавил он, подойдя к графине и глядя на нее сверкающим взглядом, – помнишь тот каштан, который в год моего рождения матушка

своими руками посадила ранней весной в нашем лесу на берегу ручья, в двух лье от Грианты? Так вот, прежде чем приступить к каким-либо действиям, я пошел посмотреть на свое дерево. «Весна, – подумал я, – началась еще совсем недавно, и если на нем уже есть листья, – это хороший знак для меня». Я тоже должен стряхнуть с себя оцепенение, в котором томлюсь здесь, в этом унылом и холодном замке. Не кажется ли тебе, что эти старые, почерневшие стены, некогда служившие орудием деспотизма и оставшиеся символом его, – очень верный образ угрюмой зимы? Для меня они то же, что зима для моего дерева.

Вчера вечером, в половине восьмого, я пришел к каштану, и – поверишь ли, Джина? – на нем были листья, красивые зеленые листочки, уже довольно большие! Я целовал листочки тихонько, стараясь не повредить им. Потом осторожно вскопал землю вокруг моего милого дерева. И тотчас же, снова преисполнившись восторга, я пошел горной тропинкой в Менаджо: ведь мне нужен паспорт, чтобы пробраться через границу в Швейцарию. Время летело, был уже час ночи, когда я подошел к дверям Вази. Я думал, что мне придется долго стучаться, чтобы его разбудить. Но он не спал, он беседовал с тремя друзьями. При первых же моих словах он бросился обнимать меня и вскричал: «Ты хочешь присоединиться к Наполеону!» И друзья его тоже горячо обнимали меня. Один из них говорил: «Ах, зачем я женат!»

Госпожа Пьетранера задумалась; она считала своим долгом выставить какие-нибудь возражения. Будь у Фабрицио хоть самый малый опыт, он прекрасно понял бы, что графиня сама не верит благоразумным доводам, которые спешит привести. Но взамен опыта он обладал решительным характером и даже не удостоил выслушать эти доводы. Вскоре графине пришлось ограничиться просьбами, чтобы он сообщил о своем намерении матери.

– Она расскажет сестрам, и эти женщины, сами того не ведая, выдадут меня! – воскликнул Фабрицио с каким-то высокомерным презрением.

– Говорите, сударь, о женщинах более уважительно, – сказала графиня, улыбаясь сквозь слезы. – Ведь только женский пол поможет вам достичь чего-нибудь в жизни; мужчинам вы никогда не будете нравиться: в вас слишком много огня, – это раздражает прозаические души.

Узнав о неожиданных замыслах сына, маркиза заплакала; она не почувствовала, сколь они героичны, и сделала все возможное, чтобы удержать его дома. Но, убедившись, что никакие препятствия, кроме тюремных стен, не помешают

Фабрицио уехать, она отдала ему все деньги, какие у нее были, – очень скромную сумму; потом вспомнила, что накануне маркиз доверил ей восемь или десять бриллиантов, стоивших около десяти тысяч франков, поручив заказать для них оправу в Милане. Когда графиня зашивала бриллианты в подкладку дорожного костюма нашего героя, в комнату матери пришли его сестры; он вернул бедняжкам их скудные сбережения. Замысел Фабрицио вызвал у сестер такой бурный восторг, они с такой шумной радостью бросились целовать его, что он схватил те бриллианты, которые еще не были зашиты в подкладку, и решил без промедления отправиться в путь.

– Вы невольно выдадите меня, – сказал он сестрам. – Раз у меня теперь так много денег, незачем брать с собою всякие тряпки: их повсюду можно купить.

Он обнял на прощание своих близких и милых сердцу и тотчас пустился в путь, даже не заглянув к себе в комнату. Боясь, что за ним пошлют в погоню верховых, он шел так быстро, что в тот же вечер достиг Лугано. Слава богу! Он уже в Швейцарии. Теперь нечего бояться, что на пустынных дорогах его схватят жандармы, подкупленные его отцом. Из Лугано он написал отцу красноречивое письмо – ребяческая слабость, письмо это только распалило гнев маркиза. Затем он перебрался на почтовых через Сенготардский перевал; он ехал быстро и вскоре пересек французскую границу у Понтарлье. Император был в Париже. Но тут начались злоключения Фабрицио. Он уехал с твердым намерением лично поговорить с императором; никогда ему не приходило в голову, что это нелегко осуществить. В Милане он раз десять на дню видел принца Евгения и, если б захотел, мог бы заговорить с ним. В Париже он каждое утро бегал во двор Тюильри, видел, как Наполеон делал смотр войскам, но ему ни разу не удалось приблизиться к императору. Герой наш воображал, что всех французов, так же как его самого, глубоко волнует крайняя опасность, угрожающая их родине. Обедая за общим столом в той гостинице, где он остановился, Фабрицио открыто говорил о своих намерениях и своей преданности Наполеону. Среди сотрапезников он встретил чрезвычайно приятных и обходительных молодых людей, еще более восторженных, чем он, и за несколько дней очень ловко выманивших у него все деньги. К счастью, он из скромности никому не рассказывал о бриллиантах, которые дала ему мать. Как-то утром, после ночного кутежа, он обнаружил, что его обокрали; тогда он купил двух прекрасных лошадей, нанял слугу – отставного солдата, служившего конюхом у барышника, – и с мрачным презрением к молодым парижанам-краснобаям отправился в армию. Он ничего не знал о ней, кроме того, что войска стягиваются к Мобежу. Но, прибыв на границу, он счел смешным устроиться в каком-нибудь доме и греться у камелька, когда солдаты стоят на бивуаках. Как

его ни отговаривал слуга, человек, не лишенный здравого смысла, Фабрицио безрассудно отправился на бивуаки, находившиеся у самой границы, на дороге в Бельгию.

Едва только он подошел к ближайшему от дороги батальону, солдаты уставились на него, находя, что в одежде этого молоденького буржуа нет ничего военного. Смеркалось, дул холодный ветер. Фабрицио подошел к одному из костров и попросил разрешения погреться, пообещав заплатить за гостеприимство. Солдаты переглянулись, удивляясь его намерению заплатить, но благодушно подвинулись и дали ему место у костра. Слуга помог Фабрицио устроить заслон от ветра. Но час спустя, когда мимо бивуака проходил полковой писарь, солдаты остановили его и рассказали, что к ним заявился какой-то человек в штатском и что он плохо говорит по-французски. Писарь допросил Фабрицио, тот принялся говорить о своей восторженной любви к Наполеону, но изъяснялся он с подозрительным иностранным акцентом, и писарь предложил пришельцу отправиться с ним к полковнику, помещавшемуся на соседней ферме. Подошел слуга Фабрицио, ведя в поводу двух лошадей. Увидев их, писарь явно изумился и, мгновенно переменив намерение, стал расспрашивать слугу. Отставной солдат, сразу разгадав стратегию своего собеседника, заговорил о высоких покровителях, якобы имевшихся у его хозяина, и добавил, что, конечно, никто не посмеет подтибрить его прекрасных лошадей. Тотчас же писарь кликнул солдат, – один схватил слугу за шиворот, другой взял на себя заботу о лошадях, а писарь сурово приказал Фабрицио без разговоров следовать за ним.

Заставив Фабрицио пройти пешком целое лье в темноте, которая казалась еще гуще от бивуачных костров, со всех сторон озарявших горизонт, писарь привел его к жандармскому офицеру, и тот строгим тоном потребовал у него документы. Фабрицио показал паспорт, где он именовался купцом, торгующим барометрами и получившим подорожную на провоз своего товара.

– Ну и дураки! – воскликнул офицер. – Право, это уж слишком глупо!

Он стал допрашивать нашего героя; тот с величайшей восторженностью заговорил об императоре, о свободе, но офицер расхохотался.

– Черт побери! Не очень-то ты хитер! – воскликнул он. – Верно, совсем уж нас олухами считают, раз подсылают к нам таких желторотых птенцов, как ты!

И как ни бился Фабрицио, как ни лез из кожи вон, стараясь объяснить, что он и в самом деле не купец, торгующий барометрами, жандармский офицер отправил его под конвоем в тюрьму соседнего городка Б…, куда наш герой добрался только в третьем часу ночи, вне себя от возмущения и еле живой от усталости.

В этой жалкой тюрьме Фабрицио провел тридцать три долгих дня, сначала удивляясь, затем негодуя, а главное, совсем не понимая, почему с ним так поступили. Он писал коменданту города письмо за письмом, и жена смотрителя тюрьмы, красивая фламандка лет тридцати шести, взяла на себя труд передавать их по назначению. Но так как она вовсе не хотела, чтобы такого красивого юношу расстреляли, и не забывала, что он хорошо платит, то все его письма неизменно попадали в печку. В поздние вечерние часы она приходила к узнику и сочувственно выслушивала его сетования. Мужу она сказала, что у молокососа есть деньги, и рассудительный тюремщик предоставил ей полную свободу действий. Она воспользовалась этой снисходительностью и получила от Фабрицио несколько золотых, – писарь отобрал у него только лошадей, а жандармский офицер не конфисковал ничего. Однажды в июне Фабрицио услышал среди дня очень сильную, но отдаленную канонаду. «Наконец-то! Началось!» Сердце Фабрицио заколотилось от нетерпения. С улицы тоже доносился сильный шум, – действительно, началось большое передвижение войск, и через Б… проходили три дивизии. Около одиннадцати часов вечера, когда супруга смотрителя пришла разделить с Фабрицио его горести, он встретил ее еще любезнее, чем обычно, а затем, взяв ее руку, сказал:

– Помогите мне выбраться отсюда. Клянусь честью, я вернусь в тюрьму, как только кончится сражение.

– Вот ерунду городишь! А подмазка у тебя есть?

Фабрицио встревожился, он не понял, что такое подмазка. Тюремщица, заметив его беспокойство, решила, что он на мели, и, вместо того чтобы заговорить о золотых наполеондорах, как сперва намеревалась, стала говорить уже только о франках.

– Послушай, – сказала она. – Если ты можешь дать мне сотню франков, я парочкой двойных наполеондоров закрою глаза капралу, который придет ночью сменять часовых, – ну, он и не увидит, как ты удерешь. Если его полк должен выступить завтра, он, понятно, согласится.

Сделка была заключена. Тюремщица даже предложила спрятать Фабрицио в своей спальне, – оттуда ему проще убежать утром.

Рано утром, еще до рассвета, она в нежном умилении сказала Фабрицио:

– Миленький, ты слишком молод для такого пакостного дела. Послушайся меня, – брось ты это!

– Но почему? – твердил Фабрицио. – Разве это преступление – защищать родину?

– Будет врать-то! Никогда не забывай, что я спасла тебе жизнь. Дело твое ясное, тебя наверняка расстреляли бы. Но только никому не проговорись, а то из-за тебя мы с мужем место потеряем. И, знаешь, не повторяй больше никому дурацкой басни, будто ты миланский дворянин, переодетый в платье купца, который торгует барометрами, – это уж совсем глупо. Ну, а теперь слушай хорошенько. Я сейчас дам тебе все обмундирование того гусара, что умер у нас в тюрьме позавчера. Старайся поменьше говорить, а уж если какой-нибудь вахмистр или офицер привяжется, станет допрашивать, откуда ты явился, и тебе придется отвечать, – скажи, что ты был болен и лежал в крестьянском доме, что крестьянин, мол, из жалости подобрал тебя, когда ты трясся от лихорадки в придорожной канаве. Если тебе не поверят, прибавь, что ты догоняешь свой полк. Тебя все-таки могут арестовать, потому что выговор у тебя не французский, – так ты скажи, будто ты родом из Пьемонта, взят по рекрутскому набору, остался в прошлом году во Франции, – ну, еще что-нибудь придумай.

Впервые после тридцати трех дней бурного негодования Фабрицио разгадал причину своих злоключений. Его считали шпионом! Он принялся убеждать тюремщицу, которая в то утро была очень нежна, и пока она, вооружившись иглой, ушивала гусарское обмундирование, слишком широкое для Фабрицио, он очень вразумительно рассказал этой женщине свою историю. Она слушала с удивлением, но на минуту поверила, – у него был такой простодушный вид, и гусарский мундир был так ему к лицу!

– Ну, раз тебе уж очень захотелось воевать, – сказала она, наполовину убежденная в его искренности, – надо было в Париже поступить в какой-нибудь полк. Угостил бы вахмистра в кабачке, он бы тебе все и устроил.

Тюремщица дала Фабрицио много полезных советов, как вести себя в будущем, и, наконец, когда забрезжил день, выпустила его на улицу, тысячу раз заставив поклясться, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не упомянет ее имени.

Едва Фабрицио, подхватив под мышку гусарскую саблю, вышел бодрым шагом из этого маленького городка, его одолели сомнения. «Ну вот, – думал он, – я иду в мундире и с подорожной какого-то гусара, умершего в тюрьме. А его, говорят, посадили за то, что он украл корову и несколько серебряных столовых приборов. Я, так сказать, унаследовал его личность, хотя этого нисколько не хотел и никак не предвидел. Значит, берегись тюрьмы!.. Примета совершенно ясная: мне придется долго страдать в тюрьме».

Не прошло и часа после разлуки Фабрицио с его благодетельницей, как полил дождь, и такой сильный, что новоявленный гусар еле вытаскивал из грязи ноги в грубых сапогах, которые были ему велики. Встретив крестьянина, ехавшего верхом на дрянной лошаденке, он купил у него эту клячу, объясняясь знаками, ибо помнил, что тюремщица советовала ему говорить как можно меньше из-за его иностранного акцента.

В тот день армия, выиграв сражение при Линьи, маршем двигалась на Брюссель; это был канун сражения при Ватерлоо. Около полудня, проезжая под нестихавшим проливным дождем, Фабрицио услышал грохот пушек. От радости он мгновенно позабыл долгие и мучительные минуты отчаяния, пережитые в незаслуженном заточении. Он ехал до поздней ночи и, так как у него уже появились зачатки благоразумия, решил остановиться на ночлег в крестьянском домике, стоявшем очень далеко от дороги. Хозяин плакался и уверял, что у него все забрали. Фабрицио дал ему экю, и в доме сразу нашелся овес. «Лошадь у меня дрянная, – думал Фабрицио, – но, пожалуй, какой-нибудь писарь позарится на нее». И он улегся спать в конюшне, рядом со станком. На следующий день, за час до рассвета, Фабрицио уже ехал по дороге и, ласково поглаживая, похлопывая свою лошадь, добился того, что она побежала рысцой. Около пяти часов утра он услышал канонаду: завязалось сражение при Ватерлоо.

III

Вскоре Фабрицио повстречались маркитантки, и великая признательность, которую он питал к тюремщице из Б…, побудила его заговорить с ними: он спросил одну из них, где ему найти Четвертый гусарский полк, в котором он служит.

– А ты бы лучше не торопился, голубчик! – ответила маркитантка, растроганная бледностью и прекрасными глазами Фабрицио. – Нынче дело будет жаркое, а поглядеть на твою руку, – где уж тебе саблей рубить! Будь у тебя ружье – куда ни шло, – и ты бы палил не хуже других.

Этот совет не понравился Фабрицио. Он стегнул лошадь, но, как ни понукал ее, не мог обогнать повозку маркитантки. Время от времени пушки как будто громыхали ближе, и тогда грохот мешал маркитантке и Фабрицио слышать друг друга. Фабрицио, вне себя от воодушевления и счастья, возобновил разговор с нею. С каждым ее словом он все больше сознавал свое счастье. И женщина эта казалась ему такой доброй, что он в конце концов все рассказал ей, утаив только свое настоящее имя и побег из тюрьмы. Маркитантка была удивлена и ничего не поняла в том, что ей наговорил этот юный красавчик солдат.

– Ага, догадалась! – наконец воскликнула она с торжествующим видом. – Вы молоденький буржуа и влюбились, верно, в жену какого-нибудь капитана Четвертого гусарского полка. Ваша милая подарила вам мундир, вы его надели и теперь вот едете догонять ее. Истинный бог, никогда вы не были солдатом! Но так как вы храбрый малый, а ваш полк пошел в огонь, вы не желаете прослыть трусишкой и тоже решили понюхать пороху.

Фабрицио со всем соглашался: это было единственное средство получить разумный совет. «Я ведь совсем не знаю, какие обычаи у французов, – думал он, – и если кто-нибудь не возьмется мной руководить, я, чего доброго, опять попаду в тюрьму и вдобавок у меня опять украдут лошадь».

– Во-первых, голубчик, – сказала маркитантка, все больше проникаясь к нему дружеским расположением, – признайся, что тебе еще нет двадцати одного года; самое большее, тебе семнадцать.

Это была правда, и Фабрицио охотно признал ее.

– Ну, значит, ты еще даже не рекрут и готов лезть под пули только ради прекрасных глаз твоей капитанши. Черт побери, у нее губа не дура! Слушай, если у тебя еще осталось хоть немного золотых кругляшек из тех, что она тебе подарила, тебе прежде всего надо купить другую лошадь. Погляди, как твоя кляча прядает ушами, когда пушки громыхнут чуть поближе, – это крестьянская лошадь, из-за нее тебя убьют, как только ты попадешь на передовые. Постой, видишь вон там, над кустами, белый дымок? Это из ружей стреляют. Ну так вот, приготовься: как засвистят вокруг пули, отпразднуешь ты труса! Поешь-ка сейчас немножко, подкрепись, пока еще время есть.

Фабрицио последовал совету и дал маркитантке золотой, попросив взять, сколько с него следует.

– Фу ты! Смотреть на тебя жалко! – воскликнула маркитантка. – Дурачок! И деньги-то он тратить не умеет. Надо бы тебя проучить. Вот положу в карман твой золотой да пущу Красотку крупной рысью… Попробуй догони нас на твоей кляче! Что ты будешь делать, дурачок, если я помчусь во весь дух? Помни, когда гремит пушка, золото никому показывать нельзя. На, получай сдачи – восемнадцать франков пятьдесят сантимов. Завтрак твой стоит всего тридцать су… А коней тут скоро можно будет купить сколько хочешь. За хорошую лошадку давай десять франков, а уж больше двадцати ни за какую не давай, будь это хоть конь четырех Эмоновых сыновей.

Когда Фабрицио кончил завтракать, неумолчная болтовня маркитантки была прервана вдруг какой-то женщиной, выехавшей на дорогу через вспаханное поле.

– Эй, Марго! Эй, слушай! – кричала она. – Сворачивай вправо. Твой Шестой егерский там стоит.

– Ну, надо нам, дружок, проститься, – сказала маркитантка нашему герою. – А право, жалко мне тебя. Полюбился ты мне, честное слово! Ничего-то ты не знаешь, каждый тебя одурачит, истинный бог! Поедем лучше со мной в Шестой егерский.

– Я и сам понимаю, что не знаю ничего, – ответил Фабрицио, – но я хочу драться и потому поеду вон туда, где белый дымок.

– Да ты погляди, как твоя лошадь ушами прядает. Как только ты туда подъедешь, тебе ее не сдержать, хоть она и малосильная, – помчится вскачь и бог весть куда тебя занесет. Уж поверь моему слову. Вот что тебе надо сделать: как подъедешь к цепи, слезай, подбери с земли ружье и подсумок, становись рядом с солдатами и все делай в точности как они. Да господи боже ты мой! Ты, поди, и патрона-то скусить не умеешь!

Фабрицио, сильно уязвленный, все же признался своей новой приятельнице, что она угадала.

– Бедняжка! Сразу и убьют тебя, как бог свят. Убьют! Долго ли до беды! Нет, непременно надо тебе со мной ехать, – сказала маркитантка властным тоном.

– Но я хочу сражаться!

– А ты и будешь сражаться! Еще как! Шестой егерский – лихой полк, а нынче дела на всех хватит.

– А скоро мы найдем наш полк?

– Через четверть часика, самое большее.

«Раз эта славная женщина отрекомендует меня, – подумал Фабрицио, – меня не примут за шпиона из-за полного моего неведения всего, и мне можно будет участвовать в бою». В эту минуту грохот канонады усилился, выстрелы зачастили один за другим. «Будто четки перебирают», – думал Фабрицио.

– Вон уж и ружейная перестрелка слышна, – сказала маркитантка, подхлестнув кнутом свою лошадку, казалось, сразу воодушевившуюся от шума сражения.

Маркитантка свернула вправо, на проселочную дорогу, тянувшуюся меж лугов; на дороге этой было по колено грязи, – повозка чуть не увязла; Фабрицио подталкивал колеса. Лошадь его два раза упала. Вскоре слякоти стало меньше, но дорога перешла в тропинку, извивавшуюся в траве. Не успел Фабрицио проехать по ней и пятисот шагов, как лошадь его вдруг остановилась: поперек тропинки лежал труп, испугавший и лошадь и всадника.

Лицо Фабрицио, бледное от природы, приняло заметный зеленоватый оттенок. Маркитантка посмотрела на мертвеца и сказала, как будто говоря сама с собой: «Не из нашей дивизии»; потом подняла глаза и, взглянув на Фабрицио, захохотала:

– Ха-ха-ха! Что, мальчик? Хороша игрушка? – крикнула она.

Фабрицио застыл от ужаса. Больше всего его поразили босые грязные ноги трупа, с которых уже стащили башмаки, да и все с него сняли, оставив только рваные штаны, перепачканные кровью.

– Слезай с лошади! – сказала маркитантка. – Подойди к нему; тебе надо привыкать… Гляди-ка! – воскликнула она. – В голову ему угодило!

Действительно, пуля попала около носа и вышла наискось через левый висок, отвратительно изуродовав лицо. Уцелевший глаз не был закрыт.

– Ну, что ж ты! Слезай! – повторила маркитантка. – Пожми ему руку, поздоровайся. Может, он тебе ответит.

У Фабрицио сердце зашлось от отвращения, однако он смело соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, крепко встряхнув, пожал ее, но отойти уже не мог, точно оцепенел; он чувствовал, что у него не хватит силы сесть на лошадь. Особенно жутко было ему видеть этот открытый глаз.

«Маркитантка сочтет меня трусом», – с горечью думал он и все же не мог пошевелиться, чувствуя, что, стоит ему сделать хоть одно движение, он упадет. Это была ужасная для него минута: он действительно был близок к обмороку. Маркитантка заметила это, проворно спрыгнула с тележки и, ни слова не говоря, подала ему стаканчик водки; Фабрицио выпил его залпом, взобрался после этого на лошадь и молча поехал дальше. Маркитантка время от времени искоса поглядывала на него.

– Завтра пойдешь в бой, дружок, – сказала она наконец, – а нынче оставайся со мной. Сам видишь, тебе еще надо привыкнуть к солдатскому ремеслу.

– Напротив, я сейчас же хочу сражаться! – воскликнул наш герой с таким грозным видом, что это показалось маркитантке хорошим предзнаменованием.

Грохот пушек усилился и как будто приближался. Выстрелы гремели без всякого промежутка, звуки их сливались в непрерывную басовую ноту, и на фоне этого непрестанного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, явственно выделялась ружейная перестрелка.

Как раз в это время они въехали в маленькую рощицу. Маркитантка увидела, что навстречу опрометью бегут четыре французских солдата: она спрыгнула с повозки и, отбежав от дороги шагов на двадцать, спряталась в яме, оставшейся на месте выкорчеванного дерева. «Ну, – подумал Фабрицио, – сейчас посмотрим, трус ли я». Он остановился около повозки, брошенной маркитанткой, и вытащил саблю из ножен. Солдаты, не обратив на него ни малейшего внимания, побежали по опушке рощи, влево от дороги.

– Это наши, – спокойно сказала маркитантка, подбегая к тележке, вся запыхавшись. – Вот если б твоя лошадь могла скакать галопом, я бы сказала тебе: «Гони ее вскачь, до конца рощи, погляди, есть ли кто на лугу».

Фабрицио, не заставив просить себя дважды, сорвал ветку тополя, ободрал с нее листья и принялся изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она понеслась вскачь, но через минуту опять затрусила рысцой. Маркитантка пустила свою лошадь галопом.

– Да погоди ты, стой! – кричала она Фабрицио.

Вскоре оба они выехали из рощи. Остановившись на краю луга, они услышали ужаснейший грохот: пушки и ружья палили со всех сторон – справа, слева, сзади. И так как роща, из которой они выехали, была на бугре, поднимавшемся над лугом на восемь – десять футов, им был виден вдали один из участков сражения, но на лугу, перед рощей, никого не оказалось. На расстоянии тысячи шагов от них луг был перерезан длинной шеренгой очень густых ветел; над ветлами расплывался в небе белый дым, иногда взлетая клубами и кружась, как смерч.

– Эх, если б знать, где наш полк, – озабоченно проговорила маркитантка. – Напрямик лугом нельзя ехать. Да вот что, – сказала она Фабрицио, – если

столкнешься с неприятелем, старайся колоть его саблей, не вздумай рубить.

Но тут маркитантка увидела тех четырех солдат, о которых мы упоминали. Они появились из лесу, слева от дороги. Один из них ехал верхом.

– Ну, вот и лошадь тебе, – сказала она Фабрицио. – Эй, подъезжай сюда! Эй! – крикнула она верховому. – Пропусти стаканчик водки.

Солдаты повернули к повозке.

– Где Шестой егерский? – крикнула маркитантка.

– Недалеко. В пять минут доедешь; перед тем вон каналом, что идет вдоль деревьев. Там как раз полковника Макона только что убили.

– Слушай, хочешь за лошадь пять франков?

– Пять франков? Экая ты шутница, матушка. Лошадь-то офицерская! Я через четверть часа за пять золотых ее продам.

– Дай-ка мне золотой, – шепнула маркитантка Фабрицио; потом, подбегая к верховому, приказала: – Слезай! Живо! Вот тебе золотой.

Солдат слез с лошади, Фабрицио весело вскочил на нее; маркитантка стала отвязывать вьючок с шинелью, притороченный к седлу его клячи.

– А ну-ка, помогите мне, – крикнула она солдатам. – Что же это вы? Дама работает, а они стоят себе, смотрят.

Но едва пойманная лошадь почувствовала на своей спине вьючок, она взвилась на дыбы, и Фабрицио, хотя и был хороший наездник, с великим трудом сдержал ее.

– Видно, что славный скакун, – заметила маркитантка. – Не привык, чтобы спину ему вьюком щекотало.

– Генеральский конь! – воскликнул солдат, продавший лошадь. – Такому коню десять золотых цена, и то мало!

– Вот тебе двадцать франков, – сказал ему Фабрицио, не помня себя от радости, что под ним настоящий горячий скакун.

В эту минуту пушечное ядро ударило наискось в шеренгу ветел, и Фабрицио с любопытством смотрел, как полетели в разные стороны мелкие ветки, словно срезанные взмахом косы.

– Эге, пушки-то ближе забирают, – сказал солдат, взяв у Фабрицио двадцать франков.

Было, вероятно, около двух часов дня. Фабрицио все еще восторженно вспоминал любопытное зрелище, как вдруг, пересекая угол широкой луговины, на краю которой он остановился, проскакали всадники: несколько генералов, а за ними – человек двадцать гусаров; лошадь его заржала, раза три поднялась на дыбы, потом принялась яростно дергать узду, которая удерживала ее. «Ну, пусть!» – подумал Фабрицио.

Лошадь, предоставленная своей воле, понеслась во весь опор и догнала эскорт, сопровождавший генералов. Фабрицио насчитал четыре треуголки с золотыми галунами. Через четверть часа по нескольким словам, которыми перебросились гусары, скакавшие рядом с ним, он понял, что один из генералов – знаменитый маршал Ней. Фабрицио был на седьмом небе от счастья, но никак не мог угадать, который из четырех генералов – маршал Ней; он отдал бы все на свете, лишь бы узнать это, но вспомнил, что ему нельзя говорить. Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня; канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешились. Канава обрывалась отвесно, край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга. Фабрицио, забыв обо всем от радости, больше думал о генерале Нее и о славе, чем о своей лошади; она, разгорячившись, прыгнула в воду; брызги взлетели высоко вверх. Одного из генералов всего обдало водой, и он громко выругался:

– Ах, дьявол! Скотина проклятая!

Фабрицио был глубоко уязвлен таким оскорблением. «Могу я потребовать от него удовлетворения?» – думал он. А пока что, желая доказать, что он вовсе уж не такой увалень, решил взобраться на другой берег верхом на лошади; но берег был отвесный и высотой в пять-шесть футов. Пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Фабрицио пустил лошадь по воде, доходившей ей почти до морды, нашел наконец место, служившее, видимо, для водопоя, и по отлогому скату без труда выехал на поле, тянувшееся по другую сторону канала. Он перебрался первый из всего эскорта и гордо поехал рысцой вдоль берега; гусары барахтались в воде и находились в довольно затруднительном положении, так как во многих местах глубина доходила до пяти футов. Две-три лошади испугались, вздумали плыть и подняли целые столбы брызг. Вахмистр заметил маневр желторотого юнца, совсем не имевшего военной выправки.

– Эй, вы! Назад! Поворачивай влево, там водопой! – крикнул он.

Мало-помалу все перебрались.

Выехав на поле, Фабрицио застал там генералов одних, без эскорта; пушки громыхали как будто все сильнее; он с трудом расслышал голос того генерала, которого так сильно обдал водой, хотя тот кричал ему в самое ухо:

– Где ты взял эту лошадь?

Фабрицио так смутился, что ответил по-итальянски:

– L’ho comprato poco fa. [9 - Я только что ее купил.]

– Что говоришь? Не слышу, – крикнул генерал.

Но в эту минуту грохот так усилился, что Фабрицио не мог ответить. Признаемся, что в нашем герое было в эту минуту очень мало геройского. Однако страх занимал в его чувствах второе место, – неприятнее всего было слышать этот грохот, от которого даже ушам стало больно. Эскорт пустил лошадей вскачь; ехали по вспаханному полю, которое начиналось сразу от канала и все было усеяно трупами.

– Красные мундиры! Красные мундиры! – радостно кричали гусары эскорта.

Сначала Фабрицио не понимал их возгласов, но наконец заметил, что, действительно, почти на всех мертвецах были красные мундиры. И вдруг он вздрогнул от ужаса, заметив, что многие из этих несчастных «красных мундиров» еще живы; они кричали, очевидно, звали на помощь, но никто не останавливался, чтобы помочь им. Наш герой, жалостливый по натуре, изо всех сил старался, чтобы его лошадь не наступила копытом на кого-нибудь из этих людей в красных мундирах. Эскорт остановился. Фабрицио, не уделявший должного внимания своим воинским обязанностям, все скакал, глядя на какого-то несчастного раненого.

– Эй, желторотый, стой! – крикнул ему вахмистр.

Фабрицио остановился и увидел, что он оказался шагов на двадцать впереди генералов, справа, и что они как раз смотрят в эту сторону в подзорные трубки. Повернув обратно, чтобы занять свое место в хвосте эскорта, стоявшего в нескольких шагах позади генералов, он заметил, как один из них, самый толстый, повернулся к своему соседу, тоже генералу, и с властным видом что-то говорит, как будто распекает его и даже чертыхается. Фабрицио не мог подавить любопытства и, невзирая на совет своей приятельницы-тюремщицы помалкивать, заговорил с соседом, искусно составив короткую, очень правильную, очень гладкую французскую фразу:

– Кто этот генерал, который разносит своего соседа?

– Вот тебе на! Маршал.

– Какой маршал?

– Маршал Ней, дурень! Где же это ты служил до сих пор?

Фабрицио, юноша очень обидчивый, даже не подумал разгневаться за оскорбление; он с детским восхищением смотрел во все глаза на знаменитого князя Московского, храбрейшего из храбрых.

Вдруг все поскакали галопом. Через несколько мгновений Фабрицио увидел, что шагах в двадцати перед ним вспаханная земля шевелится самым диковинным образом. Борозды пашни были залиты водой, а мокрая земля на их гребнях взлетала черными комками на три-четыре фута вверх. Фабрицио взглянул на эту

странную картину и снова стал думать о славе маршала. Позади раздался короткий крик: двое гусаров, убитые пушечным ядром, упали с седла, и, когда он обернулся посмотреть, эскорт уже был от них в двадцати шагах. Ужаснее всего было видеть, как билась на вспаханной земле лошадь, вся окровавленная, запутавшись ногами в собственных кишках: она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи.

«Наконец-то я под огнем! – думал Фабрицио. – Я был в бою! – твердил он удовлетворенно. – Я теперь настоящий военный».

В эту минуту эскорт мчался во весь опор, и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он ни вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым – батарея стояла очень далеко, – а среди ровного, непрерывного гула, в который сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы; понять он ничего не мог.

В эту минуту генералы и эскорт спустились на узкую, залитую водой дорожку, тянувшуюся под откосом, ниже поля футов на пять.

Маршал остановился и опять стал смотреть в подзорную трубку. На этот раз Фабрицио мог разглядеть его как следует. Оказалось, что у него совсем светлые волосы и широкое румяное лицо. «У нас в Италии нет таких лиц, – думал Фабрицио. – Я вот, например, бледный, а волосы у меня каштановые, мне никогда таким не быть!» – мысленно добавил он с грустью. Для него эти слова означали: «Мне никогда не быть таким героем!» Он поглядел на гусаров, – кроме одного, у всех были рыжеватые усы. Фабрицио смотрел на гусаров, а они все смотрели на него. От их взглядов он покраснел и, чтобы положить конец своему смущению, повернул голову в сторону неприятеля. Он увидел длинные ряды красных человечков, и его очень удивило, что они такие маленькие: их цепи, составлявшие, верно, полки или дивизии, показались ему не выше кустов живой изгороди. Один ряд красных всадников рысью приближался к той дорожке в низине, по которой поехали шагом маршал и эскорт, шлепая по грязи. Дым мешал различить что-нибудь в той стороне, куда все они двигались; только иногда на фоне этого белого дыма проносились галопом всадники.

Вдруг Фабрицио увидел, что со стороны неприятеля во весь дух мчатся верхом четверо. «А-а, нас атакуют!» – подумал он, но потом увидел, как двое из этих верховых подъехали к маршалу и что-то говорят ему. Один из генералов

маршальской свиты поскакал в сторону неприятеля, а за ним – два гусара из эскорта и те четыре всадника, которые только что примчались оттуда. Потом дорогу перерезал узкий канал, и, когда все перебрались через него, Фабрицио оказался рядом с вахмистром, с виду очень славным малым. «Надо с ним заговорить, – думал Фабрицио, – может быть, они тогда перестанут так разглядывать меня». Он долго обдумывал, что сказать вахмистру.

– Сударь, – сказал он наконец, – я в первый раз присутствую при сражении. Скажите, это настоящее сражение?

– Вроде того. А вы кто такой будете?

– Я брат жены одного капитана.

– А как его звать, вашего капитана?

Герой наш страшно смутился. Он совсем не предвидел такого вопроса. К счастью, маршал и эскорт опять поскакали галопом. «Какую французскую фамилию назвать?» – думал Фабрицио. Наконец ему вспомнилась фамилия хозяина гостиницы, в которой он жил в Париже; он придвинулся к вахмистру вплотную и во всю мочь крикнул ему:

– Капитан Менье!

Вахмистр, плохо расслышав из-за грохота пушек, ответил:

– А-а, капитан Телье? Ну, брат, его убили.

«Браво! – воскликнул про себя Фабрицио. – Не забыть: «Капитан Телье». Надо изобразить огорчение».

– Ах, боже мой! – произнес он с жалостным видом.

С низины выехали на лужок и помчались по нему; снова стали падать ядра; маршал поскакал к кавалерийской дивизии. Эскорт мчался среди трупов и раненых, но это зрелище уже не производило на нашего героя такого впечатления, как раньше, – он думал теперь о другом.

Когда эскорт остановился, Фабрицио заметил вдали повозку маркитантки, и нежные чувства к этой почтенной корпорации взяли верх надо всем: он помчался к повозке.

– Куда ты? Стой, св…! – кричал ему вахмистр.

«Что он тут может мне сделать?» – подумал Фабрицио и продолжал скакать к повозке маркитантки. Он пришпоривал лошадь в надежде увидеть свою знакомую – добрую маркитантку, которую встретил утром; лошадь и повозка были очень похожи, но хозяйка их оказалась совсем другою, и Фабрицио даже нашел, что у нее очень злое лицо. Подъехав к повозке, он услышал, что маркитантка сказала кому-то:

– А ведь какой красавец мужчина был!..

Тут нашего новичка солдата ждало очень неприятное зрелище: отнимали ногу какому-то кирасиру, молодому и красивому человеку саженного роста. Фабрицио зажмурился и выпил один за другим четыре стаканчика водки.

– Ишь ты, как хлещет, заморыш! – воскликнула маркитантка.

После водки Фабрицио осенила блестящая идея: «Надо купить благоволение гусаров, моих товарищей в эскорте».

– Продайте мне все, что осталось в бутылке, – сказал он маркитантке.

– Все? А ты знаешь, сколько это стоит в такой день? Десять франков!

Зато, когда Фабрицио галопом подскакал к эскорту, вахмистр крикнул:

– Э-э! Ты водочки нам привез! Для того и удрал? Давай сюда!

Бутылка пошла по рукам; последний, допив остатки, высоко подбросил ее и крикнул Фабрицио:

– Спасибо, товарищ!

Все смотрели теперь на Фабрицио благосклонным взглядом. У него отлегло от сердца, словно свалился тяжелый камень, давивший его: сердце у него было тонкого изделия, – из тех, которым необходимо дружеское расположение окружающих. Наконец-то спутники перестали на него коситься и между ними установилась связь! Фабрицио глубоко вздохнул и уже непринужденно спросил вахмистра:

– А если капитан Телье убит, где же мне теперь сестру искать?

Он воображал себя маленьким Макьявелли, говоря так смело «Телье» вместо «Менье».

– Нынче вечером узнаете, – ответил ему вахмистр.

Эскорт снова двинулся и поскакал вслед за маршалом к пехотным дивизиям. Фабрицио чувствовал, что совсем охмелел, он выпил слишком много водки, его покачивало в седле; но тут ему очень кстати вспомнился совет кучера, возившего его мать: «Ежели хватил лишку, равняйся на лошадь впереди и делай то, что делает сосед».

Маршал направился к кавалерийским частям, довольно долго пробыл там и дал приказ атаковать неприятеля; но наш герой уже час или два совсем не сознавал, что происходит вокруг. Он чувствовал страшную сонливость, и, когда лошадь его скакала, он грузно подпрыгивал в седле.

Вдруг вахмистр крикнул гусарам:

– Эй, сукины дети, не видите, что ли?.. Император!

Тотчас же гусары рявкнули:

– Да здравствует император!

Нетрудно догадаться, что герой наш очнулся и смотрел во все глаза, но видел только скакавших на лошадях генералов, за которыми также следовал эскорт. Длинные гривы, украшавшие каски драгун в свите императора, мешали различить лица.

«Так я и не увидел, не увидел императора на поле сражения! И все из-за этой проклятой водки!»

От такой мысли Фабрицио окончательно отрезвел.

Спустились на дорогу, залитую водой. Лошади жадно тянулись мордами к лужам.

– Так это император проехал? – спросил Фабрицио у соседа.

– Ну да, он! Тот, у которого мундир без золотого шитья. Как же это вы не заметили его? – благожелательно ответил гусар.

Фабрицио страстно хотелось догнать императорский эскорт и присоединиться к нему. Какое счастье по-настоящему участвовать в войне под водительством такого героя! «Ведь я именно для этого и приехал во Францию. И я вполне могу это сделать: я же сопровождаю этих генералов только оттого, что моей лошади вздумалось поскакать вслед за ними».

Фабрицио решил остаться лишь потому, что гусары, его новые товарищи, смотрели на него очень приветливо, и он начинал считать себя близким другом всех этих солдат, рядом с которыми скакал несколько часов. Он уже видел, как между ними завязывается благородная дружба героев Тассо и Ариосто. А если присоединиться к эскорту императора, надо снова заводить знакомство; да еще его там, пожалуй, встретят плохо, так как в императорском эскорте драгуны, а на нем гусарский мундир, как и на всех, кто сопровождал маршала. Гусары же смотрели теперь на нашего героя таким ласковым взглядом, что он был на верху блаженства; он сделал бы для своих товарищей все на свете; душой и мыслями он витал в облаках. Все вокруг сразу переменилось с тех пор, как он почувствовал себя среди друзей; он умирал от желания расспросить их. «Нет, я еще немного пьян, – убеждал он себя. – Надо помнить, что говорила тюремщица!»

Когда отряд выбрался из ложбины, Фабрицио заметил, что маршал Ней куда-то исчез, а вместо него впереди эскорта ехал другой генерал – высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом.

Генерал этот был не кто иной, как граф д’А***, – тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как был бы он счастлив увидеть Фабрицио дель Донго!

Перед глазами Фабрицио уже давно не взлетали черные комки земли от падения пушечных ядер. А когда подъехали к кирасирскому полку и остановились позади него, он услышал, как защелкала по кирасам картечь; несколько человек упало.

Солнце уже стояло низко и вот-вот должно было закатиться, когда эскорт, проехав по дороге между высокими откосами, поднялся на пологий бугор в три-четыре фута и двинулся по вспаханному полю. Фабрицио услышал позади себя глухой, странный звук и, обернувшись, увидел, что четыре гусара упали вместе с лошадьми; самого генерала тоже опрокинуло на землю, но он поднялся на ноги, весь в крови. Фабрицио посмотрел на упавших гусаров, – трое еще судорожно дергались, четвертого придавила лошадь, и он кричал: «Вытащите меня, вытащите!» Вахмистр и трое гусаров спешились, чтобы помочь генералу, который, опираясь на плечо адъютанта, пытался сделать несколько шагов: он хотел отойти от своей лошади, потому что она свалилась на землю и, яростно лягаясь, билась в конвульсиях.

Вахмистр подошел к Фабрицио, и в эту минуту наш герой услышал, как позади, у самого его уха, кто-то сказал:

– Только вот эта еще может скакать.

И вдруг он почувствовал, как его схватили за ноги, приподняли, поддерживая под мышки, протащили по крупу лошади, потом отпустили, и он, соскользнув, упал на землю.

Адъютант взял лошадь Фабрицио под уздцы, генерал с помощью вахмистра сел в седло и поскакал галопом; за ним поскакали все шесть уцелевших гусаров. Взбешенный, Фабрицио поднялся на ноги и побежал за ними, крича: «Ladri! Ladri!» (Воры! Воры!). Смешно было гнаться за ворами посреди поля сражения.

Вскоре эскорт и генерал граф д’А*** исчезли за шеренгой ветел. Взбешенный Фабрицио добежал до этих ветел, очутился перед глубоким каналом и перебрался через него. Вскарабкавшись на другой берег, он опять принялся браниться, увидев генерала и эскорт, мелькавших между деревьями, но уже на

очень большом расстоянии.

– Воры! Воры! – кричал он теперь по-французски.

Наконец, в полном отчаянии – не столько от похищения его лошади, сколько от предательства друзей, – еле живой от усталости и голода, он бросился на землю у края рва. Если бы его великолепную лошадь отнял неприятель, Фабрицио и не думал бы волноваться, но мысль, что его предали и ограбили товарищи, – этот вахмистр, которого он так полюбил, и эти гусары, на которых он уже смотрел как на родных братьев, – вот что надрывало ему сердце. Он не мог утешиться, думая о такой подлости, и, прислонившись к стволу ивы, плакал горькими слезами. Он развенчивал одну за другой свои прекрасные мечты о рыцарской, возвышенной дружбе, подобной дружбе героев «Освобожденного Иерусалима». Совсем не страшна смерть, когда вокруг тебя героические и нежные души, благородные друзья, которые пожимают тебе руку в минуту расставания с жизнью! Но как сохранить в душе энтузиазм, когда вокруг одни лишь низкие мошенники! Как всякий возмущенный человек, Фабрицио преувеличивал.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Гоголь-моголь (ит.).

2

Вопрос чести (ит.).

3

Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем. Ариосто, IV сатира (ит.).

4

Дом дель Донго (ит.).

5

Произносится «маркезино». По местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза, «контино» – сыновьям графа, «контессина» – дочерям графа и т. д. – Примеч. автора.

6

Перевод с французского Т. Щепкиной-Куперник.

7

«Мария, дева, радуйся» (лат.).

8

Эти патетические слова передают прозой строфы стихов знаменитого Монти. – Примеч. автора.

9

Я только что ее купил.

Купить: https://tellnovel.com/ru/frederik-stendal/parmskaya-obitel-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить